

Анатолий
МАРИЕНГОФ

Малое
собрание
сочинений



АЗБУКА

Санкт-Петербург

БЕЗ ФИГОВОГО ЛИСТОЧКА

М. Г.

Ваше письмо от 18.3 получил. Посылаю, согласно Вашей просьбе, для американского из-ва нечто вроде автобиографии.

Я родился в 1897 году в ночь под Ивана Купала. По легенде, в эту ночь цветет папоротник. Мечтатели ищут цветок, который открывает клады. И еще в эту ночь цвела Россия песнями и кострами. Я сам прыгал через пламя, обжигая пятки и юность.

Меня принимала сумасшедшая акушерка. Я родился с темными кудряшками и оттопыренными ушами. Говорят, что моя голова была похожа на вызревший подсолнух. Сумасшедшая акушерка приняла меня за черта. Она пыталась отстричь мне голову ножницами. Каким-то образом моему отцу удалось убедить ее отказаться от этой благородной мысли. Прямо от нас акушерка уехала в дом умалишенных.

Все детство я проиграл в солдатики. У меня были оловянные дивизии, корпуса, армии. Однорукий генерал, лет пятнадцать тому назад влюбившийся в мою мать — тогда эпархиалку, был моим несменным товарищем и сверстником. Командуя оловянными эскадронами, маскируя в диванных подушках крохотные батареи, он проползал по ковру в моей детской всю вторую половину своей хронической влюбленности. Однажды я наголову разбил своего сверстника в генеральских лампадах. Мои снаряды из жеваной бумаги смели его пехоту. Буря, поднятая в ванне велосипедным насосом, пустила ко дну его эскадру. Тараканы, выпущенные из папиросной коробки, опрокинули его кавалерию, пробирающуюся по спинке дивана в обход моего левого фланга. Однорукий генерал не пережил своего Аустерлица. Он умер от разрыва сердца на моей детской кровати. Мама вынула

из его заледеневшей руки оловянного есаула, командовавшего казачьей сотней, дрогнувшей перед тараканами. С тех пор я возненавидел войну. Мне ненавистна винтовка, вне зависимости от того, чья рука ее сжимает. Людоеду я отдам предпочтение перед офицером. Людоед, по крайней мере, не обучался в академии, как приготовить бифштексы из человеческого филея. У Жоффра, Гинденбурга и Брусилова нет даже и этого оправдания. Несколько дюжин ведьм, сожженных на костре, вызывают в нас чувство снисходительного превосходства и покровительственной иронии над столетиями, закованными в рыцарские доспехи. А сами мы с деловым видом всаживаем штык в живот живого человека. Дикари! Если проповедь «не убий» все еще слишком культурна для нашего варварского мозга, пусть бы он, на худой конец, разжевал эгоистическое «не убий меня!».

Я терпеть не могу музыку. В детстве, когда при мне начинали играть на рояле, я брал отца за палец и говорил:

— Папа, уйдем отсюда. Здесь шумят.

Моя нелюбовь к музыке сделала меня революционером. Лет двадцать тому назад я в царский день сидел в ученической ложе нижегородского театра. Перед поднятием занавеса оркестр заиграл «Боже, царя храни». Мотивы и китайцы были для меня на одно лицо. Когда театр, как один человек, встал, я, пожирая глазами программу с фамилиями любимых актеров, остался сидеть на своем стуле. Гимн проиграли трижды. Трижды я ничего не видел и не слышал. А в антракте жандармский полковник с ватными усами распекал двенадцатилетнего ротозея.

— Революция, молодой человек, — это свинство. А на вас мундир дворянского института. Позор!

Жандарм сообщил о моем преступлении директору нашего благонаправленного заведения. Я получил 36 часов карцера и прекрасный выговор в актовом зале, обрамленном императорскими портретами. 300 институтцев были выстроены в торжественные колонны. 600 глаз смотрели на меня с завистью. Было бы мудро после этого не вообразить себя героем, мучеником за идею. Яд вошел в кровь.

В карцере я написал свое первое стихотворение. Жандарм был моей музой. Когда я показал стихотворение отцу, он нашел

в каждой строчке по орфографической ошибке. Поэтических достоинств он не нашел. Это меня немножко огорчило.

Во время предсмертной агонии моей матери я играл в футбол. Я был капитаном команды и центр-форвардом. Матч я выиграл, а безоблачность детства проиграл. Его голубизна для меня осталась навсегда подернутой дымком, который ест глаза до слез.

После смерти матери мы перебрались из Нижнего Новгорода в Пензу.

Лето 1914 года я плавал юнгой на учебной шхуне. В Копенгагене, в матросском кабачке, я случайно не получил сифилиса. Моя возлюбленная чуть было не уговорила меня в память грехопадения вытатуировать над сердцем профиль ее живота. Увы, даже золотистая хризантема во вкусе Уайльда не делала его прекрасным.

В день объявления войны наша трехпарусная лохань болталась между Стокгольмом и Ганге. Добродушная судьба посадила на русскую мину не нас, а какой-то чересчур торопливый пароходик. За четверть часа до гибели он наспех отсалютовал нашему Андреевскому флагу.

Мы возвращались в Россию через Финляндию. Перепуганные курортные дамы, галлюцинирующие немецкими десантами, дрались из-за мест в поезде, как уличные мальчишки. А баронесса Дорн укусила графиню Горстину в зад. Графиня в номере Северной гостиницы в Петербурге показывала мне свои прокуренные панталоны. Это самое яркое воспоминание от моего первого светского романа и патриотизма русской аристократии.

В 1916 году я кончил гимназию. Мне предстояла высокая честь с винтовкой в руках защищать дорогое отечество. На прощальной пирушке я обронил:

— Лучше всю жизнь быть трусом, чем один раз убитым.

И благополучно окопался в тыловом учреждении. Моему афоризму повезло: оброненный в отдельном кабинете пензенского кафешантана, он уже через несколько недель, потеряв автора, стал народной мудростью. Он имел хождение до последних дней войны по всей Великой Российской империи. Из чувства национального ханжества москали, к сожалению, произносили его с еврейским акцентом.

В 1918 году чешские батальоны уходили из большевистской Москвы в Сибирь. Красный пензенский гарнизон, послушный приказу наркомвоена, предложил разоружиться очередным эшелонам. В ответ чехи штурмовали город. На крыше нашего дома стоял большевистский пулемет. Его ощупывали шрапнелями. Красногвардеец-пулеметчик попросил у меня табачку. Я принес ему на крышу коробку папирос. Отец крикнул из окна:

— Анатолий, иди в дом!

Я ответил:

— Папа, здесь весело.

Тогда он влез на крышу и сказал:

— Если не уйдешь, я сяду на эту трубу и буду сидеть.

Я пожал плечами:

— Сиди.

Он сел и закрыл глаза руками. А через несколько минут я уже вносил его в комнату на руках. Пуля попала в пах. Я плохо знал анатомию. Мне казалось, что рана не смертельна. Отца я любил бесконечно. Позади у меня — детство, подернутое дымком, и черная юность.

В том же году я сдал в набор первую книжечку лирических стихов. Она называлась «Гардероб сердца». Типографские рабочие, зачитав рукопись на общем собрании, вынесли постановление: 1) стихи не набирать; 2) рукопись сжечь. Выяснилось, что я писал о любви, по их мнению, чересчур грубо. Это было в дни, когда волна красного террора поднялась до своей предельной высоты.

Несколькими неделями позже в московской газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина». Одна из глав кончалась следующим четверостишием:

Граждане, меняйте белье исподнее
Ваших душ!
Магдалина, я тоже сегодня
Приду к тебе в чистых подштанниках.

Моя чистоплотность привела критиков в бешенство. Тогда меня это несколько удивило. Я был очень зелен. О литературе у меня были превратные понятия.

У Аполлона физиономия парикмахера. У Венеры скверная фигура. Богиню не приняли бы манекеном ни в один приличный *maison*. Я понял, что вечного искусства не существует. Потому что нет вечных вкусов. Гете так же надоедает, как рубленые котлеты. Спор между академией и молодыми — это спор февраля с мартом. Победителем всегда будет апрель. Да здравствует же весна! Когда я был пузырем, я считал своим долгом помогать ей в битвах. По целым дням я раскалывал лед на лужицах и ручейках. Мне казалось, что я приближаю цветенье. Критики поступают еще более наивно — они дуют из всех своих тщедушных легких на весеннюю капель в надежде ее заморозить. Глупцы!

В 1919 году я с Сергеем Есениным возглавил группу крайних поэтов. На нашем знамени было начертано: «ОБРАЗ». Мы опубликовывали манифест за манифестом. Один левее другого. Во времена Французской революции Анархасису Клоотсу пришлось РАЗУМ одеть в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага. Тогда только он понравился. Чтобы заставить читать свои поэмы в годы, когда в любом декрете было больше романтизма, чем в Шиллере, мы были вынуждены вместо бумаги пользоваться седыми стенами древних монастырей и соборов, а вместо наборной машины — малярной кистью. Если бы не вмешательство милиции, московских «сорока сороков» хватило бы мне для полного собрания сочинений.

Мы давали лучшим улицам и площадям столицы свои имена. Для этого, расставив дозоры, работали ночи напропалую, меняя эмалированные дощечки. Знаменитая Петровка неделю пробыла улицей Анатолия Мариенгофа. Почтение дворников было завоевано.

Однажды мы объявили всеобщую мобилизацию. Наши приказы, расклеенные по столбам и заборам, были копированы с афиш военного комиссариата. Когда зеленолицые обыватели в сопровождении плачущих жен собрались в указанном месте, мы оповестили, что «всеобщая мобилизация» объявлена в защиту новых форм поэзии и живописи. Как это ни странно, нас не побили.

К тридцати годам стихами я объелся. Для того чтобы работать над прозой, необходимо было обуржуазиться. И я женился на актрисе. К удивлению, это не помогло. Тогда я завел сына.

Когда меня снова потянет на стихи, придется обзавестись велосипедом или любовницей. Поэзия не занятие для порядочного человека.

Лев Николаевич Толстой написал первый русский бульварный роман («Анна Каренина»), Достоевский — образцовый уголовный роман («Преступление и наказание»). Это общеизвестно. Мне не хотелось учиться ни у бульварного, ни у уголовного писателя. А лучше их не писал никто в мире. Что было делать? Не был ли я вынужден взять себе в учителя — сплетню. Если хорошенько подумать, так поступали многие и до меня. Но об этом они деликатно помалкивали. Например — месье Флобер. Какую развел сплетню про «Мадам Бовари»! Я обожаю кумушек, перебирающих косточки своим ближним. Литература тоже перебирает косточки своим ближним. Только менее талантливо.

Форме я учусь у анекдота. Я мечтаю быть таким же скучным на слова и точным на эпитет. Столь же совершенным по композиции. Простым по интриге. Неожиданным. Наконец, не менее веселым, сальным, соленым, документальным, трагическим, сентиментальным. Только пошляки боятся сентиментальности. А мещане — граммофона. Если к тому же мои книги будут равны по долговечности хорошему анекдоту и расходиться не меньшими тиражами, я смогу спать спокойно.

Рафаэль не написал ни Коперника, ни Галилея (своих современников). Из потаскух он делал мадонн, из цирюльников — святых, из площадных сорванцов — херувимов. Но искусство не прощает лжи. Рафаэль жестоко наказан. Его мадонны украшают конфетные коробки, святые — туалетное мыло, а херувимы служат марками для патентованных презервативов. Я пишу с живых людей — живых людей. Они занимаются у меня в романах тем же делом, что и в жизни. Я даже не меняю им фамилии, если они не очень сердятся.

До сих пор я еще не выбрал себе родины. В Нижнем Новгороде любят Бетховена. В Москве обязательно выходить из трамвая через переднюю площадку. На Кавказе слишком эффектные горы. В Берлине делают суп из кирпичиков «Магги». В Париже я боюсь стать импотентом. Венцы чашечку кофе запивают семью стаканами холодной воды. Это действует мне на нервы. Варша-

ва — оперетка. А в Нью-Йорке и в рязанской деревне я еще не побывал.

Моя философия — поменьше философии. Как-никак, а из древнегреческого возраста мы выросли. Сократ сморкался в кулак.

Верую — в касторку.

Анатолий Мариенгоф

1930 год 1 апрель Ленинград

P. S. Пожалуйста, немедленно подтвердите получение письма. Кстати, много любопытного в моем «Бритом».

С уважением и приветом,

А. М.

*Ленинград, ул. Марата, д. 47, кв. 30
(заказным)*

ЦИНИКИ

Почему может быть признан виновным историк, верно следующий мельчайшим подробностям рассказа, находящегося в его распоряжении? Его ли вина, если действующие лица, соблазненные страстями, которых он не разделяет, к несчастью для него совершают действия глубоко безнравственные.

Стендаль

— Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна. Это все очень верно, но не сами ли вы говорили, что, чтобы угодить на общий вкус, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство.

Лесков

1918

I

— Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как группы, лежат мешки.

Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы — женской руки с обрубленной кистью.

Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель.

— Знаете, Ольга...

Я коснулся ее пальцев.

— ...после нашего «социалистического» переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.

Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.

— А как вы думаете, Владимир...

Она взглянула в зеркало.

— ...может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?

Она взяла со столика золотой герленовский карандашик:

— Как же тогда жить?

2

После четырехдневной забастовки собрание рабочих тульского оружейно-патронного завода постановило:

«...по первому призывному гудку выйти на работу, т. к. забастовка могла быть объявленной только в силу *временного помешательства* рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи».

3

Чехословаки взяли Самару.

4

В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше двухсот тысяч человек.

5

ВЧК сделала тщательный обыск в кофейной французского гражданина Лефенберга по Столешникову переулку, дом 8, и в кофейной словака Цумбурга тоже по Столешникову переулку, дом 6. Обнаружены пирожные и около 30 фунтов меда.

6

Вооруженный тряпкой времен Гомера, я стою на легонькой передвижной лесенке и в совершеннейшем упоении глотаю книжную пыль.

Внизу Ольга щиплет перчатку цвета крысиных лапок.

— Нет, Ольга, этого вы не можете от меня требовать!

Она продолжает отдирать с левой руки свою вторую кожу.

— Итак, вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю перетирать мои книги? Да?..

— Именно.

— Ни за что в жизни! Она и без того получает слишком большое жалованье.

— Марфуша!

От волнения я теряю равновесие. Мне приходится, чтобы не упасть, выпустить из рук тряпку времен Гомера и уцепиться за шкаф. Тряпка несколько мгновений парит в воздухе, потом плавно опускается на Ольгину шляпу из жемчужных перышек чайки.

О ужас, античная реликвия черной чадрой закрывает ей лицо!

Ольга давится пылью, кашляет, чихает.

Со своего «неба» я бормочу какие-то извинения. Все погибло. С земли до меня доносится:

— Марфуша!

Входит девушка, вместительная и широкая, как медный таз, в котором мама варила варенье.

— Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит три часа времени, а у вас это займет не больше двадцати минут.

У меня сжимается сердце.

— Спускайтесь, Владимир. Мы пойдем гулять.

Спускаюсь.

— Ваша физиономия татуирована грязью.

Моя физиономия действительно «татуирована грязью».

— Вам необходимо вымыться. Работает ли в вашем доме водопровод? Иначе я понапрасну отсчитала шестьдесят четыре ступеньки.

— Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что в революции самое приятное — ее неожиданности.

7

Мы идем по Страстному бульвару. Клены вроде старинных модниц в больших соломенных шляпах с пунцовыми, оранжевыми и желтыми лентами.

Ольга берет меня под руку.

— Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаша получила письмецо с предписанием «сторожить квартиру». Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет.

По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух.

У Ольги лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды. А рот — туз червей.

— Хочу мороженого.

Я отвечаю, что Московский Совет издал декрет о полном воспрещении «продажи и производства»:

— ...яства, к которому вы равнодушны.

Ольга разводит плечи:

— Странная какая-то революция.

И говорит с грустью:

— Я думала, они первым делом поставят гильотину на Лобном месте.

С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы.

— А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое.

Через город перекинулась радуга. Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской оперетки. О какой-то чепухе болтают воробы.

8

В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в Райвскую пустынь. Казанская ЧК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев. А монахи взяли да и сожгли на кострах всю комиссию вместе с охраной.

Причем жгли, говорят, по древним русским обычаям: сначала перевязывали поперек бечевкой и бросали в реку; когда поверхность воды переставала пузыриться, тащили наружу и принимались «сушить на кострах».

История в Ольгином духе.

9

— Я пришел к тебе, Ольга, проститься.

— Проститься? Гога, не пугай меня.

И Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом.

— Куда же ты отбываешь?

— На Дон.

— В армию генерала Алексеева.

Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением:

— Гога, да ты...

И вдруг — ни село, ни пало — задирает кверху ноги и начинает хохотать ими, как собака хвостом.

Гога — милый и красивый мальчик. Ему девятнадцать лет. У него всегда обиженные розовые губы, голова в золоте топленых сливок от степных коров и большие зеленые несчастливые глаза.

— Пойми, Ольга, я люблю свою родину.

Ольга перестает дрыгать ногами, поворачивает к нему лицо и говорит серьезно:

— Это все оттого, Гога, что ты не кончил гимназию.

Гогины обиженные губы обижаются еще больше.

— Только подлецы, Ольга, во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай.

— Прощай, цыпленок.

Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их:

— До свидания, Гога.

Он качает головой, расплескивая золото топленых сливок:

— Нет, прощайте.

И выпячивает розовые, как у девочки, обиженные губы. Мы целуемся.

— До свидания, мой милый друг.

— Для чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию.

Бедный ангел! Его непременно подстрелят, как куропатку.

— Прощайте, Гога.

10

На Кузнецком Мосту обдирают вывески с магазинов. Обнажаются грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены.

С крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах.

— При Петре Великом, Ольга, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо. Как суп, варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого Моста?

Рабочий в шапчонке, похожей на плевок, весело осклабился:

— А вот, граждане, к примеру сказать, в Альшванговом магазине буржуйских роскошей будем махру выдавать по карточкам.

И, глянув прищуренными глазами на Ольгины губы, добавил:

— Трудящемуся населению.

Предвечернее солнце растекается по панелям. Там, где тротуар образовал ямки и выбоины, стоят большие, колеблемые ветром солнечные лужи.

— Подождите меня, Владимир.

— Слушаюсь.

— В тридцать седьмой квартире живет знакомый ювелир. Надо забросить ему камушек. А то совсем осталась без гроша.

— У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять «прижизненного Пушкина».

Ольга легкими шагами взбегаёт по ступенькам.

Я жду.

Старенький действительный статский советник, «одетый в пенсне», торгует в подъезде харьковскими ирисками.

Мне делается грустно. Я думаю об улочке, на которой еще теснятся книжные лавчонки.

Когда-то ее называли Моховой. Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бессуразно пышно рос мох.

Вышла Ольга.

— Теперь можем кутить.

Она покупает у действительного статского советника ириски.

Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах.

11

Мой старший брат Сергей — большевик. Он живет в «Метрополе»; управляет водным транспортом (будучи археологом); ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся, точно от водянки, шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара.

У Сергея веселые синие глаза и по-ребячьи оттопыренные уши. Того гляди, он по-птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит.

Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи.

Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на большую щеку. Всякий раз *волчанка* съедала заплату.

— Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку.

— Для чего тебе библиотека?

— Чтобы стирать с нее пыль.

— Ходи в Румянцевку и стирай там.

— Ладно... не надо.

Сергей садится к столу и пишет записку.

Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров; о судьбе чернородого семнадцатилетнего еврейского мальчика, который, чтобы «спасти честь России», бросил бомбу в немецкое посольство; о смерти Мирбаха; о желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию с Германией.

Еще не все улеглось. Еще останавливают на окраинах автомобили и держат, согласно ленинскому приказу, «до тройной проверки»; еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры.

Чтобы раздражить Сергея, я говорю про эсеров:

— А знаешь, мне искренно нравятся эти «скифы» с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных обтрепанных салопов.

Ольга про эсеров неплохо сказала: «они похожи на нашего Гогу — будто тоже не кончили гимназию».

Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками.

— Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же.

Мягкими серыми хлопьями падает темнота на Театральную площадь.